

Рене Жирар Устремление к крайности*

Предлагаемый вниманию читателя текст представляет собой перевод первой главы «Завершить Клаузевица» (2007), — одной из последних книг франко-американского антрополога, философа и богослова Рене Жирара (1923–2015), которую к тому же вполне можно назвать его последним программным сочинением. Хотя большая часть работы посвящена франко-германским отношениям в XIX–XX вв., ее центральный предмет — кризис современности и ее постепенное превращение в «войну всех против всех», причем в буквальном смысле.

Сам Жирар зачастую говорил о своей работе как о детективном расследовании: среди сотен авторов, живших на протяжении около трех тысяч лет, он выбирает для диалога тех немногих, кто «проговаривается» об истоках культуры, зная или догадываясь о том, что в ее основе лежит насилие, механизм козла отпущения, учредительное убийство и обожествление жертвы. Среди них оказываются античные и нововременные трагики, романисты, антропологи, и, разумеется — авторы Танаха и Евангелий. «Клаузевиц» — тоже своего рода опрос свидетелей по делу о современности, и хотя своей очереди дожидаются Гегель, Гельдерлин, Карл Шмитт, Эрнст Юнгер, Раймон Арон и другие, ключевой фигурой дела становится Карл фон Клаузевиц (1780–1831) — не слишком удачливый прусский военный теоретик, написавший так и оставшийся неоконченным трактат «О войне». Именно в изложенных им принципах войны Жирар обнаруживает самую суть современности: устремление к крайности, т.е. противостояние миметических соперников в глобальном масштабе вплоть до полного уничтожения одного из них — которое при этом может совпасть с гибелью целой планеты.

«РАСШИРЕННЫЙ ПОЕДИНОК»

Бенуа Шантр: Ваша работа, мсье Жирар, основывается на литературной критике, изучении религиозности в архаических обществах, а также антропологическом прочтении Евангелий и

* Глава из книги Рене Жирара *Завершить Клаузевица*, готовящейся к выходу в издательстве ББИ.

иудейской пророческой традиции. *A priori* ничто не предвещало того, чтобы вы увлеклись трудами прусского генерала, умершего практически безвестным в Берлине в 1831 году. Как вас посетил этот интерес к Карлу фон Клаузевицу?

Рене Жирар*: Это случилось сравнительно недавно, когда в руки ко мне попало сокращенное американское издание его трактата «О войне» и внезапно я осознал, что идеи этого, как вы говорите, прусского генерала чрезвычайно близки моим, и это позволило мне в конце концов приложить основные принципы созданной мною миметической теории к истории — в частности, истории двух последних веков. В своих книгах — если быть точным, в «Насилии и священном», — я уже затрагивал проблему войны, но с точки зрения строго антропологической. Я не мог подойти к ней теоретически, то есть так, как это делали все великие стратеги от Сунь-Цзы до Мао Цзэдуна, — Макиавелли, Гвиберт, Сакс или Жомини. Мне, тем не менее, кажется, что Клаузевиц стоит от них несколько в стороне, поскольку он жил на стыке двух веков войны и засвидетельствовал новую ситуацию в сфере насилия: его подход поэтому является намного более глубоким и намного менее техническим, чем у других. Лишь недавно, таким образом, я начал рассматривать этот *конец войны* как нечто отдельное от всего прочего. Это постепенное исчезновение социального института, целью которого было сдерживать насилие и управлять им, подтверждает главную мою гипотезу о том, что в течение приблизительно трех последних веков мы являемся свидетелями эрозии любых обрядов и всех институтов вообще. Даже война в некотором смысле способствовала, посредством своих законов и правил, работе по установлению новых форм равновесия на все более и более обширных географических областях. Она перестала исполнять свою роль, скажем, *grosso modo*, со времен окончания Второй мировой войны. Как получилось, что эта игра внезапно стала игрой без правил? Как получилось, что политическая рациональность потерпела поражение и оказалась бессильной? Вот те вопросы, к ответу на которые мы должны будем стремиться прийти.

Чем дальше я продвигался в чтении трактата Клаузевица, а эту возможность очень скоро предоставил мне его полный перевод на французский, тем больше я был заморожен тем, как в нем, на этих эмоционально скупых, суховатых порой страницах разворачивалась вся драма современного мира, очевидно не имеющая отношения к военной теории. Я, конечно читал книгу Раймона Арона «Философ войны, Клаузевиц»¹, когда она еще только вы-

* Далее следуют обозначения: Бенуа Шантр — Б. Ш., Рене Жирар — Р. Ж. — Здесь и далее * обозначены примечания переводчика.

¹ Raymond Aron, *Penser la guerre, Clausewitz*, tome I, "L'âge européen", Gallimard, coll. "Bibliothèque des sciences humaines", 1976; tome II, "L'âge planétaire", Gallimard, coll. "Bibliothèque des sciences humaines", 1976.

шла, то есть в конце 70-х, но тогда я был слишком погружен в свои собственные изыскания, чтобы уделить ей должное внимание. Теперь я понимаю, что именно *рационалистическое* прочтение Арона помешало моему вхождению в текст Клаузевица, и что говорит он совсем не о том, о чем Арон хочет заставить его говорить. Упрекнуть его в этом нельзя, потому что сочинение это блестящее и очень характерное для своего времени; скажем, для эпохи Холодной войны, когда верили еще в необходимость сдерживания ядерной угрозы и то, что в политике есть смысл. Сегодня его не то, чтобы очень много. Поэтому я убежден, что мы уже вошли в ту эпоху, когда антропология как инструмент станет полезнее политологии. Мы должны будем радикальным образом изменить всю нашу интерпретацию событий, перестать мыслить подобно людям эпохи Просвещения, осознать наконец радикальность насилия и с помощью этого осознания создать совершенно иной тип рациональности. Этого требуют сами события. Вот зачем нужно читать Клаузевица сегодня. Я надеюсь, что кто-нибудь еще подхватит те мысли, которые я хотел бы обсудить сегодня в нашей беседе.

Б. Ш.: Сделаем, если вы не возражаете, небольшой экскурс в историю. После этого можем открыть «О войне». Карл фон Клаузевиц (1780—1831) — прусский офицер, он родился в семье военного и известен был только среди военных. Будучи, как и все его коллеги, горд могуществом своей страны, поражение от армии Наполеона при Йене в 1806 году он воспринял как катастрофу. Этот разгром (король Фредерик Вильгельм III бежал в восточную Пруссию, в то время как почти всю страну оккупировала французская армия) напомнил офицерам их унижение в битве при Вальми, когда 20 сентября 1792 года Фридрих Вильгельм II, наследник своего дяди Фридриха Великого (друга Вольтера), приказал графу Брунсвику командовать отступление, столкнувшись с новым феноменом: армией горожан плечом к плечу с армией мастеровых (союзом «белозадых» и «васильков»), которая вскоре зажжет революционным огнем всю Европу.

Р. Ж.: Не забудьте, что Клаузевиц успел побывать при Вальми, и именно что под началом графа Брунсвика! Я где-то читал, что он уже тогда осознал все огромное значение этой битвы, бывшей на самом деле не более чем канонадой. Это, однако, был первый случай, когда французская армия стала революционной и когда вместо того, чтобы обратиться в паническое бегство, как это бывало два или три раза до этого, французы стояли насмерть. В итоге граф Брунsvик отступил, но без особого ущерба. Полагаю, тут все историки согласны между собой. Согласны они также и в том, что все это имело чрезвычайное значение, поскольку именно с этого момента армия Революции начинает свое сопротивление.

Марсельские горожане, пришедшие под Вальми плечом к плечу с мастеровыми, не удовлетвоались тем, что сделали свой гимн национальным гимном Франции: они открыли новую эру, эру всеобщей мобилизации. Йене суждено будет стать одной из самых быстрых побед Наполеона. Все пошло кувыркком в какие-нибудь три минуты!

Б. Ш.: Всю новизну этого феномена народного вооружения и призыва на военную службу Клаузевиц понял очень быстро. Вспомним, что принцип революционной экспансии был вынесен на голосование в Конвенте 17 ноября 1792 года. Он предшествовал политике Комитета общественного спасения («Никакой свободы врагам свободы», как провозгласил Сен-Жюст), которая, начиная с марта 1793 года, позволит революционной армии оккупировать Бельгию и Рейнскую область. Это стремление к завоеваниям, ставшее вскоре одним из главных приобретений Революции, определит всю политику Наполеона и его поспешность в создании континентального блока протяженностью от России до Испании, который противостоял бы Британии и ее коммерческим и гегемоническим интересам.

Р. Ж.: Если мы вспомним эти события, то сможем понять весь травматизм Йены в 1806 году. Пруссия, одержимая милитаристской гордыней выскочка, увидела, как вся ее система политической централизации рассыпается, как карточный домик. Нужно было все восстанавливать, строить заново. Клаузевиц, которого недолговременный альянс между королем Пруссии и Наполеоном заставил с 1811 по 1814 дезертировать из страны, чтобы воссоединиться с армией русского царя, будет жить с надеждой на реформу, которой он ждал от Шарнхорста. Подобная реформа оказалась невозможна в свете реакционной политики Фридриха Вильгельма III после Венского конгресса. Никакой конституции в Пруссии не будет. Философические мечты Фридриха Великого, «просвещенного деспота» XVIII столетия, погребены теперь окончательно.

Говорят, что именно Клаузевиц вдохновил стратегию Кутузова. Но карьеру свою он окончит довольно грустно, директором Прусской военной академии в Берлине, где у него не будет даже права преподавать. Его коллеги так и не простили ему того, что он был прав, продолжая войну, тем более, что по закону это вообще была его обязанность. Клаузевиц не смог сыграть той политической роли, к которой стремился. Однако же он извлек из этих исключительных военных событий урок и вплоть до самой смерти размышлял над незавершенным трактатом, опубликованным его супругой уже после его кончины. Сам он мог бы счесть законченной лишь первую главу *Книги I*. Вот почему из всего труда зачастую цитируют лишь несколько начальных страниц,

взятых из первой главы *Книги I*, посвященной «Природе войны» и резюмирующей содержание всего труда.

Б. Ш.: Эта первая глава под названием «Что такое война?» — текст и в самом деле фундаментальный. К работе над ней Клаузевиц возвращается за несколько лет до смерти, последовавшей в 1931 году, и Раймон Арон усматривает в этом желание переосмыслить вопрос в чуть более политическом и чуть менее милитаристском духе. Арон доходит даже до заявления, что будто существует пробел между этой первой главой *Книги I* и остальной частью трактата; и что эта первая глава представляет собой законченную целостность...

Р. Ж.: Что не может не означать, как вы убедитесь сами, что он уже столкнулся с какой-то серьезной проблемой! Нам придется исследовать, почему он так на этом настаивает и так подчеркивает этот «пробел». Все указывает на то, что Раймон Арон просто не хочет видеть внутреннего единства всего текста, которое я полагаю несомненным даже с учетом позднейшей редактуры. И я думаю, что в этой первой главе самый тон трактата можно узнать сразу же. В ней заключается вся сущность его предмета и все его напряжение.

Б. Ш.: Она начинается с определения войны...

Р. Ж.: ...как поединка.

Б. Ш.: Давайте обратимся к первоисточнику:

Мы не имеем в виду выступать с тяжеловесным государственно-правовым определением войны; нашей руководящей нитью явится присущий ей элемент поединка*. Война есть ничто иное, как расширенный поединок. Если мы захотим охватить мыслью как одно целое все бесчисленное множество отдельных поединков, из которых состоит война, то лучше всего вообразить себе схватку двух борцов. Каждый из них стремится при помощи физического насилия принудить другого выполнить свою волю; его *прямая* цель — *сокрушить* противника и тем самым сделать его неспособным ко всякому дальнейшему сопротивлению. *Итак, война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю*².

Р. Ж.: Обратите внимание также на то, что за этим определением войны, к которому мы еще вернемся, следует ремарка, сделанная уж явно не затем, чтобы успокоить читателя:

* В оригинале — “Zweikampf”, во французском переводе — “duel”. Оба термина очевидным образом подразумевают борьбу, в которой участвуют двое — за что, собственно, и цепляется Жирар. В русском переводе это слово неудачно, на наш взгляд, переведено как “единоборство”, которому мы предпочитаю “поединок” как в меньшей степени нагруженное посторонними смыслами.

² Carl von Clausewitz, *De la guerre*, trad. Denice Naville, Minuit, coll. “Arguments”, 1955, p. 51. При работе с книгой Клаузевица был использован частично измененный и сверенный с оригиналом и французским текстом перевод А. Рачинского: Карл фон Клаузевиц, *О войне*, М.: Логос, Наука, 1998.

Некоторые филантропы могут, пожалуй, вообразить, что можно искусственным образом без особого кровопролития обезоружить и сокрушить и что к этому-де именно и должно тяготеть военное искусство. Как ни соблазнительна такая мысль, тем не менее, она содержит заблуждение и его следует рассеять. Война — дело опасное, и заблуждения, имеющие своим источником добродушие, для нее самые пагубные³.

Что Клаузевиц здесь хочет до нас донести? Две вещи. Прежде всего то, что настала эпоха, когда так называемой войны в кружевах, войны XVIII века, больше нет; и еще то, что непрямая стратегия является «заблуждением, имеющим своим источником добродушие». Это последнее заявление демонстрирует — хотя это и не удивительно, — что Клаузевиц игнорирует всю китайскую стратегию, четко нацеленную на победу в сражении еще до того, как оно начнется. Но речь идет и еще об одном вполне ясном суждении на сей счет: первенство непрямой стратегии (предпочитающей скорее маневрировать, чем сражаться) зачастую является признанием в слабости. Ум, таким образом, должен служить грубой силе, поскольку именно она становится здесь во главу угла:

Применение физического насилия во всем его объеме никоим образом не исключает содействия разума; поэтому тот, кто этим насилием пользуется, ничем не стесняясь и не щадя крови, приобретает огромный перевес над противником, который этого не делает. Таким образом, один предписывает закон другому; оба противника до последней крайности напрягают усилия; нет других пределов этому напряжению, кроме тех, которые ставятся внутренними противодействующими силами⁴.

Отсюда это поразительное определение поединка как «устремления к крайности», которое тут же напомнило мне о том, что я называю миметическим конфликтом. Реальность войны заключается в том, что в ней «враждебное чувство» (страсть к войне) неизменно выливается во «враждебное намерение» (осознанное решение биться):

Итак, мы повторяем свое положение: война является актом насилия и *применению его нет предела*; каждый из борющихся предписывает закон другому; происходит соревнование, которое теоретически должно было бы довести обоих противников до крайностей. В этом и заключается первое взаимодействие⁵ и первая крайность, с которыми мы сталкиваемся⁵.

³ Carl von Clausewitz, *De la guerre*, p. 52.

⁴ *Ibid.*, p. 52.

* Здесь и далее мы переводим “action réciproque” как “взаимодействие”, “réciprocité” как “взаимность”, а склонное к смешению с этими терминами слово “interaction” даем в транскрипции — интеракция.

⁵ Clausewitz, *op. cit.*, p. 53. “[...] so gibt jeder dem anderen das Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung, die dem Begriff nach zum äussersten führen muss. Dies ist die erste

Когда я прочел этот пассаж в первый раз, текст Клаузевица буквально захватил меня. Я внезапно почувствовал, что для того, чтобы понять всю драму современного мира, необходимо следовать за ним. Клаузевиц — великий мыслитель, сегодня я в этом убежден, но по причинам совершенно отличным от тех, на которые ссылается Раймон Арон. Признаюсь вам, что это определение поединка меня одновременно завораживает и пугает, настолько пересекается оно с моим собственным анализом и помогает ему вгрызаться в историю с такой силой, какой я не мог себе и вообразить.

Б. Ш.: Это «безграничное использование силы» представляет собой первую форму взаимодействия, которую Клаузевиц привлекает для определения поединка. Засим следуют два других типа взаимности, имеющих в качестве следствия два устремления к крайности: это цель обезоружить противника (возрастающая по экспоненте с обеих сторон), а также «крайнее напряжение сил» (все более и более взаимная воля к разрушению).

Р. Ж.: И вот внезапно на третьей странице Клаузевиц, как кажется, сам противоречит этому первому апокалиптическому определению. Или, скорее, он признает, что подобная концепция войны (которую он без малейших сомнений называет «оптимистической»...) предполагает такое напряжение, раскручивает воображение до такого предела, что все заканчивается утратой чувства реальности. Это весьма неожиданно. Здесь мы внезапно возвращаемся к понятию реальности, от насильственной взаимности поединка переходя к мирной взаимности того, что Клаузевиц называет «вооруженным охранением». Начиная с этого места Клаузевиц пытается как-то замазать им же открытые глубокие щели. Теперь «устремление к крайности» объявляется «логической фантазмагорией», чистым концептом, не соответствующим исторической действительности. Обратите внимание, что в этом пассаже Клаузевиц, по всей видимости, еще и сожалеет об этом! Он, следовательно, отделяет концепт от его реальности, и делает это из теоретических соображений, которые позволят «абсолютной войне» вобрать в себя все возможные разновидности конфликтов от преимущественно политических до преимущественно милитаристских: концепт войны как поединка становится здесь «точкой референции». И в этом — вся амбивалентность его мысли. На самом деле Клаузевиц не говорит, что реальное отделено от своего концепта, но что реальные войны *стремятся ему соответствовать*.

Раймон Арон, тем не менее, выстраивает свое доказательство как раз-таки на том, что «абсолютная война» есть *не более, чем*

концепт: тем самым он воздвигает неодолимую пропасть между представлением о войне как о поединке и ее реальностью. Вместе с ним мы находимся в 1976 году, готовясь вступить в последнее десятилетие Холодной войны, эру, когда политике удалось сдержать ядерный апокалипсис. Арон превосходно понимает контекст своей эпохи, но не текст Клаузевица. Именно здесь, в этом сопротивлении разума, тлеет один из последних огней Просвещения: без сомнения изумительный, но нереальный.

Б. Ш.: Раймон Арон, однако же, в полной мере следует за логикой текста: и в самом деле, все складывается так, как если бы в мысли самого Клаузевица человеческий дух был неспособен вообразить себе самое худшее, довести искусство войны до «совершенства», — так что теперь пришлось бы рассматривать взаимодействие в пространстве и времени «реальных» войн.

Р. Ж.: В самом деле. Этот резкий переход от одной крайности к другой, к реальности, или от взаимности насильственной ко взаимности мирной, выглядит крайне загадочно. Но я совершенно не удовлетворен той интерпретацией, которую нам предлагает Раймон Арон. Мы могли бы выразить это еще и так, что в эпоху Клаузевица «устремление к крайности» не может еще найти условий для своего применения; что мы не находимся еще в ситуации апокалипсиса, но постоянно подходим все ближе и ближе к этому абсолюту, к осуществлению первого определения войны; что люди, в определенном смысле, еще пока не способны совместить реальную войну с ее концептом, но однажды станут способны! Это одна из возможных интерпретаций текста. Вот это я почувствовал сразу же. И вот почему у меня сложилось странное впечатление, что после этой краткой и пугающей вспышки апокалиптического озарения Клаузевиц, будто бы отрезвляясь, возвращается к печальной действительности:

Совершенно иная картина представляется в том случае, когда мы от абстракции перейдем к действительности. В области отвлеченного над всем господствовал оптимизм. Мы представляли себе одну сторону такой же, как и другая. Каждая из них не только стремилась к совершенству, но и достигла его. Но возможно ли это в действительности? Это могло бы иметь место лишь в том случае:

- 1) если бы война была совершенно обособленным актом, возникающим как бы по мановению волшебника и не связанным с предшествующей государственной жизнью.
- 2) если бы она состояла из одного решающего момента или из ряда одновременных столкновений.
- 3) если бы она сама в себе заключала окончательное решение, т.е. заранее не подчинялась бы влиянию того политического положения, которое сложится после ее окончания⁶.

⁶ Clausewitz, *op. cit.*, p. 55.

Итак, во-первых, «война никогда не является обособленным актом»⁷, ибо мы знаем, кто наш противник, имеем о нем какое-то представление и не рассматриваем его абстрактно. Во-вторых,

Война не состоит из одного удара, не имеющего временной протяженности ... таким образом, уже по одной, этой причине противники в своем взаимодействии не дойдут до предела напряжения сил и не все силы будут выставлены с самого начала⁸.

Более того, Клаузевиц уточняет, что «по природе и характеру» имеющихся в наличии сил (то есть собственно вооруженных сил, страны с ее рельефом и населением, союзников) «они не могут быть применены и введены в действие все сразу» и что вследствие этого «природа войны не допускает полного одновременного сбора всех сил». Он добавляет:

Это обстоятельство само по себе не может служить основанием к тому, чтобы понижать напряжение сил для первого решительного действия ... человеческий дух в своем отвращении к чрезмерному напряжению сил прикрывается этим предлогом и не сосредоточивает и не напрягает своих сил в должной мере в первом решительном акте⁹.

Что происходит дальше? Один противник попросту *имитирует* другого:

... здесь опять возникает взаимодействие, благодаря которому стремление к крайности низводится до степени умеренного напряжения¹⁰.

И, наконец, в-третьих, война никогда не разворачивается одним абсолютным решительным действием, но ведется относительными средствами. Апокалиптическое воображение сменяется расчетом вероятностей: дальнейшие действия ставятся в зависимость от того, что известно о противнике: о его «характере», его «институтах», «ситуации и обстоятельствах, в которых он находится».

Б. Ш.: Не можем ли мы сделать отсюда вывод, что в случае реальной войны речь идет о выяснении *различий* между противниками, в то время как в случае войны «в теории», такой, где реальность совпадает с концептом и где правит закон «устремления к крайности», эти различия, наоборот, затушевываются?

Р. Ж.: Именно так. «Устремление к крайности» невозможно рассматривать иначе, кроме как «в теории», то есть когда противники идеально тождественны между собой. Уточняя эту идею в терминах миметической теории, мы могли бы сказать, что условия

⁷ Clausewitz, *op. cit.*, p. 55.

⁸ *Ibid.*, p. 56.

⁹ *Ibid.*, p. 57.

¹⁰ *Ibid.*

*неразличимости*¹¹ во времена Клаузевица еще не сложились — но однажды, быть может, и сложатся. Ему приходится как бы на время забыть все те правила, что имеют значение в реальных войнах, где «политическая цель вновь выдвигается на первый план». Очевидно, что здесь он делает над собою усилие: он пытается противостоять своей собственной природе и в каком-то смысле успокоить читателя. И вот здесь-то, в том месте, где он берет свои слова обратно, нас поджидает Раймон Арон, который будет использовать эти поправки в своей попытке реконструировать целый трактат, который Клаузевиц непременно *написал бы*, если бы не погиб от холеры в 1831. Признайте, что это, тем не менее, выглядит захватывающе! В этом — вся гуманистическая вера Раймона Арона, но также и ограниченность его аргумента.

Поэтому нам необходимо вернуться к тексту, а именно к 11 параграфу первой главы, где Клаузевиц пишет, как, оттеснив «логическую фантазмагорию» устремления к крайности, «политическая цель вновь выдвигается на первый план». В этом переработанном тексте Клаузевиц пытается рассмотреть политически управляемый военный конфликт, хотя мы и можем очень хорошо видеть, что война, если так можно сказать, возвращается здесь на свое законное почетное место. Возьмите первый и последний абзацы этого параграфа и оцените разницу в том, каким тоном в них говорит с нами автор. Итак, прежде рассмотрим возвращение политики:

Здесь снова в поле нашего исследования попадает тема, которую мы уже рассматривали (в §2): политическая цель войны. Закон крайности — намерение сокрушить противника, лишить его возможности сопротивляться, — до сих пор в известной степени заслонял эту цель. Но поскольку закон крайности бледнеет, а с ним отступает и стремление сокрушить противника, политическая цель снова выдвигается на первый план. Если все обсуждение потребного напряжения сил представляет лишь расчет вероятностей, основывающийся на определенных лицах и обстоятельствах, то политическая цель как первоначальный мотив должна представлять весьма существенный фактор в этом комплексе¹².

Политическая цель вновь возникает, когда «массы равнодушны»¹³; или, говоря словами Клаузевица, когда «враждебное намерение» преобладает над «враждебным чувством». Проблема, однако же, состоит в том, что «события последних войн»¹⁴ —

¹¹ В «Насилии и священном» понятие неразличимости используется для описания социальной группы в ситуации угрозы со стороны «миметического кризиса»: насилие охватывает группу в такой степени, что все различия (социальные, семейные или индивидуальные) в ней исчезают.

¹² Clausewitz, *op. cit.*, p. 58.

¹³ *Ibid.*, p. 59.

¹⁴ *Ibid.*, p. 53.

то есть наполеоновских войн и развязанной ими «тотальной войны», когда уникальный горизонт войны объединял народные «массы», — все изменили. И здесь «устремление к крайности» возвращается под видом непредвиденного столкновения лицом к лицу, под видом ненависти одной нации к другой:

Легко понять, что результаты нашего расчета могут быть чрезвычайно различны, в зависимости от того, преобладают ли в массах элементы, действующие на напряжение войны в повышательном направлении, или в понижательном. Между двумя народами, двумя государствами может оказаться такая натянутость отношений, в них может скопиться такая сумма враждебных элементов, что совершенно ничтожный сам по себе политический повод к войне вызовет напряжение, далеко превосходящее значимость этого повода, и обусловит подлинный взрыв¹⁵.

Это выражение неслучайно. Перейдем теперь к заключительной части параграфа:

Раз цель военных действий должна быть эквивалентна политической цели, то первая будет снижаться вместе со снижением последней и притом тем сильнее, чем полнее господство политической цели. Этим объясняется, что война, не насилуя свою природу, может воплощаться в весьма разнообразные по значению и интенсивности формы, начиная от войны на уничтожение и кончая выставлением обсервационных частей¹⁶.

Что здесь говорится, кроме того, что политическая цель сильна, когда массы равнодушны; и что она слаба, когда они перестают быть таковыми? Иначе говоря, что война перекрывает собой политику? Миру угрожают скорее страсти, чем что-либо еще, но Раймону Арону как рационалисту это не по душе. Эти страсти нашли себе выход в революционных и наполеоновских войнах. Сам принцип войны, скрытый и до сих пор сдерживаемый, был выпущен на свободу. Следовало бы сказать, что он был «почти» выпущен, потому что реальные войны *все еще* не адекватны своему концепту; Венский конгресс принес на европейский континент относительную стабильность, которая продлится вплоть до самой войны 1870 года и ужаса 1914. Я предпочитаю говорить об «относительной» стабильности, потому что резня в колониях, организация пролетариата как «воинствующего класса» и успех социал-дарвинизма в сознании людей... все это предвещает глобальную катастрофу XX века. Война лишь войну призывает, даже если от Йены до Москвы все еще держится перемирие, которому в отчаянии подчинился Наполеон, при каждой удобном случае

¹⁵ Clausewitz, *op. cit.*, p. 59.

¹⁶ *Ibid.*, p. 60.

мобилизуя страну и понемногу призывая солдат. А что, если это и был тот самый «мировой дух», который увидел Гегель из своих йенских окон? Пресловутое вписывание универсального в историю и закат Европы. Это не теодицея Духа, а потрясающая неразличимость в действии. Вот почему Клаузевиц одновременно увлекает меня и страшит.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И МИМЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Б. Ш.: Посему не можем ли мы сказать, что если война перекрывает политику, то нам следует мыслить взаимодействие как то, что одновременно провоцирует и отсрочивает устремление к крайности? Миметический принцип как имитация некоего образца, который сам становится имитатором и вовлекается в удвоенный конфликт пары соперников, это взаимодействие, которые вы в своих книгах называете «двойной имитацией», не ему ли отведена здесь роль движущей силы истории?

Р. Ж.: Вы правы, отождествляя между собой взаимодействие и миметический принцип. Эту пружину насильственной имитации, *делающей противников все более и более похожими друг на друга*, мы находим в основании всех мифов и всех культур. Свидетелем возвращения именно этого принципа и станет Клаузевиц. Выводы из этого замечания следуют самые что ни на есть обширные. Вы делаете большой скачок от одного к другому, — но делаете вполне обоснованно. Понятие «взаимодействия» (так переводят немецкое *Wechselwirkung*) здесь, очевидно, заимствовано из таблицы категорий Канта, но мы могли бы перенести его в и область рассмотрения интересубъективности, или, точнее, миметической антропологии, основанной на отношениях взаимной имитации между людьми.

Миметическая теория отвергает идею автономии. Она стремится релятивизировать даже саму возможность интроспекции: заглянуть в себя всегда означает найти другого, медиатора, того, кто без нашего ведома определяет наши желания. И когда речь заходит о военных автоматизмах и интеракциях между собой двух враждующих армий, все эти аналитические инструменты нам прекрасно подходят! В связи с «тотальной войной» и тоталитарными режимами XX века часто говорили о «милитаризации гражданской жизни»: это ужасное явление доказывает, что на наших глазах возникло что-то совершенно новое. Исходный толчок к этой мутации европейских обществ дали наполеоновские войны. Я бы даже назвал эту милитаризацию одним из факторов близящейся к совершенству неразличимости, начало которой совпало с концом эпохи войн, руководимых всякого рода правилами и кодексами.

Терроризм есть прямое следствие того, что Клаузевиц определял и рассматривал под именем «партизанской войны»: его действительность основана на первенстве обороны над наступлением; он легитимирует себя как ответ на агрессию; поэтому он основан на взаимности. И взаимодействие, и миметический принцип имеют в виду одну и ту же реальность, даже если Клаузевиц таинственным образом ухитряется ни словом не упомянуть имитацию. Более того, на следующей странице он напоминает нам, что «речь идет не о наступательных действиях того или другого противника, а о поступательном ходе войны в целом»¹⁷. Война есть тотальный социальный феномен. В этом анализ Клаузевица предвосхищает социологию Дюркгейма. У Клаузевица еще есть, что нам рассказать, — и о насилии «масс», и о феноменах заражения.

Я возвращаюсь к вашему замечанию — которое показалось мне очень верным, — относительно того, что взаимодействие одновременно *провоцирует и отсрочивает* устремление к крайности. Фактически это следствие имитации, которая вызывает два этих противоположных эффекта. Эта основополагающая амбивалентность делает отношения между людьми уникальными. Если во времени и пространстве сойдутся определенные обстоятельства, — а именно, «обособленный акт», «уникальное» и «завершенное» решительное действие, то есть абсолютное в полноте своих следствий, как пишет Клаузевиц, — то взаимодействие спровоцирует устремление к крайности. Однако взаимодействие может и отсрочить устремление к крайности, представляя собою скрытую движущую силу «реальных войн» в их отличии от войн «абсолютных». Здесь мы вступаем в область всякого рода спекуляций насчет намерений противника, в расчет вероятностей и так далее. Взаимодействие представляет собой, таким образом, одновременно обмен, торги и насильственную взаимность. Как пишет Клаузевиц на этой же самой странице, «раз в интересах одного — действовать, в интересах другого — выжидать»¹⁸. Следовательно, реальная война удаляется от войны абсолютной в той мере, в какой принимает в расчет измерения пространства и времени: местность, климат, всякого рода «маневры», усталость и так далее. В этот момент пара противников не устремляется к крайности, поскольку они не отвечают на удары друг друга, находясь в одном месте и в одно время. В какой мере отсрочка такого сражения является заслугой политики или того, что Клаузевиц называет «вооруженным охранением», нам еще предстоит рассмотреть.

Б. Ш.: Далее в рассмотрении Клаузевица возникает «принцип полярности», иначе называемый игрой с нулевой суммой: «победа

¹⁷ Clausewitz, *op. cit.*, p. 60.

¹⁸ *Ibid.*

одного уничтожает победу другого»¹⁹. В *Заметке 1827 года*, где автор трактата намечает дальнейшую его редактуру, это называется «первым родом войны»: ее цель «заключается в том, чтобы обезоружить противника, лишить его возможности продолжать борьбу, т.е. *сокрушить его*»²⁰. Война с целью разгромить соперника здесь ощутимо подслащает апокалиптическую тональность «абсолютной войны».

Р. Ж.: Очевидно, что мы должны обратиться к этим последним исправлениям Клаузевица, с помощью которых он силился как бы затупить свой «концепт» об твердую реальность — и попытаться понять его мотивы. Между тем, обратите внимание на то, что в качестве автора идеи войны с целью разгромить соперника, как и «тотальной» войны, здесь неизменно фигурирует Наполеон. Одержимость Клаузевица этой фигурой достигает здесь просто каких-то невероятных масштабов, и функционирует она в точности как то, что я называю образцом-препятствием: образец этот — одновременно притягательный и отталкивающий, а источником его служат те ментальные патологии, которые прекрасно описал Достоевский.

Но Клаузевиц для своей эпохи не был уникален! Посмотрите, например, на двух королей Испании, Карла IV и его сына Фердинанда, стоявших на коленях у ног императора Байонны и уничтожавших друг друга на глазах у того, кто заправлял европейской сценой. Ведь этот истерический спектакль словно сошел со страниц «Бесов»! Поскольку Наполеон столь необыкновенно силен, нам кажется, что он всецело управляет ситуацией. После его победы над Фридрихом Вильгельмом III в 1806 году говорили о «милосердии под Йеной». На самом же деле император сам пытался снискать расположение Пруссии, даже после входа в Берлин и бегства короля в Кенигсберг. Он не хотел, чтобы его считали тираном и просчитывал каждую свою победу. Поэтому пруссаки одновременно ненавидели его и им восхищались, и он не замедлил создать с ними альянс против России. Это крайне важно: эта амбивалентность является определяющей чертой *образца*. Очарованный поначалу гением того, кого он называет «богом войны», позже Клаузевиц будет яростно его отвергать и после поражения под Йеной присоединится к армии русского царя. Свита прусского короля не преминет впоследствии в этом его обвинить. Но что стало бы с Клаузевицем, останься он в Пруссии? Близость к Наполеону и сама идея сотрудничать с ним против России могла бы тогда представиться ему совершенным безумием! Свою карьеру

¹⁹ Clausewitz, *op. cit.*, p. 62.

* Игра с нулевой суммой означает, что победа одного и поражение другого взаимно уравновешиваются.

²⁰ *Ibid.*, p. 42.

он закончит в Берлине, где до самой смерти будет трудиться над своим трактатом. Не следует забывать об этом пронизывающем всю его сущность ресентименте человека, который так и не смог сыграть ту роль в политике и войне, к которой стремился.

Не знаю, как бы он отреагировал, прочтя что-нибудь из Гюго! Очень интересно сравнить между собой эти два отношения. Клаузевиц питает к Наполеону какую-то ядовитую страсть: возвращаясь к моим собственным концептам, он находится с ним в отношениях *внутренней медиации*, в то время как Гюго поддерживает с императором намного менее интенсивную связь. Внутренняя медиация предполагает близость образца во времени и пространстве: именно такова позиция Клаузевица в отношении к Наполеону. Гюго же в 1806 было всего только четыре года, и уж тем более он не был под Йеной! В этом плане Клаузевиц, на мой вкус, куда глубже и куда интереснее, потому что куда более подвержен миметизму. Он мыслит *против* Наполеона в обоих смыслах этого предлога*: вы видите, до какой степени ресентимент может быть плодотворным и «теоретизированным».

Клаузевиц проповедует тоталитаризм: все могущество этой патологии основывается на том, что с его помощью он хочет *ответить* императору. Есть что-то очень глубокое в этой реальности ресентимента, современной страсти *par excellence*, в каком качестве ее видели Стендаль и Токвиль. Сейчас я думаю еще о второй части «Записок из подполья» Достоевского. Сколь необыкновенно близки были все эти люди между собой! Если что-то Клаузевиц и пронес через всю свою жизнь, так это наполеоновское измерение. Но он дает нам и средства пойти совсем другим путем. Он неспособен, тем не менее, дать ясный анализ «взаимодействия», поскольку и самого его грызет изнутри миметизм.

Итак, тезис о том, что взаимодействие *одновременно провоцирует и отсрочивает* устремление к крайности, справедлив. Оно провоцирует его, поскольку каждый из двух противников ведет себя одинаково, рассчитывая тактику, стратегию и политику другого²¹;

* Предлог *contre* во французском языке может означать как “против”, так и “исходя из” чего-либо. Жирар здесь имеет в виду, что Наполеон для Клаузевица – противник, который в то же время сообщает исходный толчок всей его мысли.

²¹ В теории Клаузевиц представляет тактику подчиненной стратегии, а стратегию – подчиненной политике. Тактика (искусство вести сражение) отсылает к стратегии (искусству предвидеть, какие маневры следует предпринять во время подготовки к сражению). Стратегия, в свою очередь, отсылает к политике: она использует одержанную с помощью тактики победу для достижения тех или иных политических целей. “Устремление к крайности” же, напротив, предполагает, что военные средства преобладают над политическими целями; оно переворачивает знаменитую формулу Клаузевица, согласно которой “война есть продолжение политики другими средствами”.

оно отсрочивает устремление к крайности, поскольку каждый из них пытается угадать намерения другого, продвигается вперед, отступает, медлит, а также принимает в расчет время, пространство, туман, усталость и все те интеракции, которые составляют суть реальных войн. Люди не прекращают взаимодействовать между собой и в пределах одной отдельно взятой армии (сюда относятся и пространная аналитика, выясняющая качества, необходимые для военачальника, к этому мы еще вернемся), и, очевидным образом, находясь в рядах двух враждующих армий. Следовательно, взаимодействие может в одно и то же время быть источником неразличимости и производить различия, работать на дело войны или мира. Если оно *провоцирует и ускоряет* устремление к крайности, то реальные «движения» во времени и пространстве исчезают, и это странным образом напоминает то, что я в своих исследованиях архаических обществ называю «жертвенным кризисом». И если, напротив, взаимодействие *отсрочивает* устремление к крайности, оно работает на производство смысла и новых различий. Но все происходит, опять же, по тем причинам, которые я неоднократно пытался раскрыть в своих книгах, и мне кажется, что все мы сегодня охвачены насильственной имитацией: уже не той, что замедляет, стопорит ход вещей, а скорее той, что его ускоряет. Разворачивающиеся сегодня на наших глазах конфликты дают тому немало тревожных подтверждений. Мы начинаем замечать, что осадочная часть конфликта не всегда для нас очевидна, и это может позволить ему вспыхнуть снова в еще более насильственной форме.

Реализм Клаузевица позволяет ему, таким образом, заметить миметический принцип, лежащий в основе человеческих отношений. Но никакой теории из этого он не выводит, будучи обязанным, — чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие в Военной академии, — говорить о наступлении, обороне, тактике, стратегии и политике. Отсюда и тот интерес, что вызывает у нас его первая глава, которая кажется вдохновенной благодаря своей противоречивости и из которой Клаузевиц извлекает уроки для своей рефлексии. Эта глава обладает вполне самостоятельной ценностью, но не потому, что противоречит остальному содержанию книги. Напротив, оно проявляется в ней, и очень живо, хотя Арон с этим и не согласен. Я твердо убежден, и уже говорил вам об этом, что Клаузевиц внес куда больший вклад в антропологию, чем в политологию. Вот почему я нахожу у него очень мощно заявленным то, что всегда интересовало меня *как антрополога*: он пытается помыслить непрерывность, а не прерывность; неразличимость, а не различия. Прочтите, к примеру, раз уж мы следуем за нитью повествования, параграф 14, и вот к чему мы приходим:

Если бы такая непрерывность военных действий имела место в действительности, то она вновь толкала бы обе стороны к крайности. От такой деятельности, не знающей удержу и отдыха, настроение повысилось бы еще сильнее и оно придало бы борьбе еще большую степень страстности и стихийной силы. Благодаря непрерывности операций возникла бы более строгая последовательность, более ненарушимая причинная связь, и тем самым каждое единичное действие стало бы более значительным и, следовательно, более опасным²².

Условный залог не должен вводить нас здесь в заблуждение: устремление к крайности как угроза, связанная с непрерывностью военных действий, для нас неизменно остается скрыта прерывностью реальных войн (маневров, промедлений, переговоров, отдыха...). Клаузевиц, таким образом, должен был почувствовать, что взаимодействие, понятое как ускоряющаяся осцилляция подобного с подобным, или, иными словами, то, что я называю миметическим принципом или принципом взаимности, намного опаснее, чем кажется на первый взгляд. Когда различия между двумя противниками осциллируют все более и более быстро — туда-сюда, как в *кюдосе*, греческом обряде в честь победителя, который я вспоминаю в «Насилии и священном»²³, — так вот, когда последовательное чередование поражений и побед, в ходе которого противники для того, чтобы сражаться, должны верить в свои различия, сближается со взаимностью, мы приходим к тому, что я называю жертвенным кризисом. В этот критический момент группа находится на грани хаоса: дайте в руки воюющим ядерное оружие, и не будет больше не только самой этой группы, но и целой планеты.

Исходя из этого, я определяю взаимность как сумму не-взаимных моментов: заметить ее может лишь внешний по отношению к конфликту наблюдатель, поскольку *изнутри вы всегда должны верить в ваши различия* и отвечать все более быстро и все более сильно. Внешнему взгляду противники представляются тем, чем и являются: попросту двойниками. В этом, то есть в *реализации единства между чередованием и взаимностью*, и заключается соответствие войны своему концепту: ускоряющаяся осцилляция различий, переход к некоего рода абстракции. Клаузевица эта «логическая хитрость», бесспорно, завораживает. Как если бы он сделал какое-то важное открытие, размышляя над поражением под Йеной в 1806 году, когда хотел *ответить* Наполеону, перейдя на службу к русскому царю. Поэтому мне хочется сейчас перевернуть вашу формулировку и сказать, что взаимодействие, которое *отсрочивало* устремление к крайности в эпоху войны в кружевах,

²² Clausewitz, *op. cit.*, p. 61.

²³ *La Violence et le Sacré*, Hachette-Littératures, coll. "Pluriel", pp. 225-227.

теперь ускоряет его, поскольку не является более потаенным. *Миметический принцип отныне не скрыт, а находится у всех на глазах*, и Клаузевиц служит главным тому свидетельством. Определяющая роль в этом откровении, даже если эффект его подобен бомбе с замедленным действием, была отведена христианству: евангельский текст «пророчески» предвосхищает реальность, которая будет все в большей и большей степени становиться исторической данностью. Миметический принцип все больше и больше проявляется, различия все больше и больше осциллируют, и это провоцирует то ускорение истории, которое мы могли наблюдать в течение последних трех веков. Не принимая во внимание этого измерения взаимодействия, рассмотренного в самого начале его трактата, Клаузевица понять невозможно.

НАСТУПЛЕНИЕ И ОБОРОНА: ОТСРОЧЕННАЯ ПОЛЯРНОСТЬ

Б. Ш.: Предложенный вами в «Насилии и священном» анализ и в самом деле поразительным образом перекликается с этим первым прозрением Клаузевица: его «реальные войны» в каком-то смысле маскируют «абсолютную войну» и, сами того не ведая, стремятся ей соответствовать; точно так же чередование поражений и побед маскирует ту взаимность, которой становится это чередование ударов и контрударов. В вашей мысли, как и у Клаузевица, все складывается так, что одна полярность как будто маскирует другую, еще более кошмарную, череда игр с нулевой суммой движется, через усиление взаимности, к «истреблению» противника.

Р. Ж.: На самом деле, полярность — явление не простое, а комплексное. Наступление с одной стороны не означает неминуемое поражение с другой. Отсюда следует необходимость рассмотреть отношения между наступлением и обороной, и тут мы подходим к параграфам 16 и 17 первой главы *Книги I*. Зачастую наступающий одерживает над обороняющимся всего только временную победу: «Полярность, — пишет Клаузевиц, — заключается в их отношении к решающему моменту, т.е. к бою, но отнюдь не в самих наступлении и обороне». Посмотрите хотя бы на Наполеона, вечно вынужденного наступать и мобилизовать все больше и больше сил! Защищающийся, в свою очередь, может предпринять решительную контратаку, и даже более грозную, чем наступающий: в этом, но только лишь в этом, случае здесь имеет место полярность. Это абсолютно основополагающий момент, и здесь мы касаемся второго великого прозрения Клаузевица, представленного в форме парадокса: *наступающий хочет мира, обороняющийся хочет войны*.

В книге Жака Бенвиля о Наполеоне полно замечаний насчет того, что Наполеон действует именно в этом смысле. Вот, например, что говорит император накануне своей русской кампании:

Но хотя я и не хочу войны и в особенности далек от желания стать чем-то вроде польского Дон Кихота, я по меньшей мере могу настаивать на том, чтобы Россия оставалась верна альянсу²⁴.

И вот Наполеон начинает необратимую игру на опережение, которая заставляет его силой оружия удерживать в своих руках целый континент, чтобы продолжать следовать избранной им стратегии антианглийского блока. Александр I же, напротив, втайне желал войны и поэтому заключил с Англией новый торговый договор, который нарушал условия Тильзитских соглашений, а Кутузов позволил сжечь Москву, чтобы как следует подготовить дорогу Великой армии. Чтобы лучше понять эту идею, нам следует перескочить сейчас к главе VII *Книги VI*, озаглавленной «Взаимодействие наступления и обороны»:

Если мы философски подойдем к происхождению войны, то увидим, что понятие войны возникает не из наступления, ибо последнее имеет своей абсолютной целью не столько борьбу, сколько овладение, а из обороны, ибо последняя имеет своей непосредственной целью борьбу, так как очевидно, что отражать и драться — одно и то же. Отражение направлено лишь на нападение и, следовательно, непременно его предполагает; между тем нападение направлено не на отражение, а на нечто другое, а именно на овладение и, следовательно, не предполагает непременно отражения. Поэтому вполне естественно, что если оборона первая вводит в действие стихию войны и лишь с ее рождением образуется деление на две стороны, то оборона же первая устанавливает и законы войны²⁵.

Обороняющийся, таким образом, — это сразу и тот, кто начинает, и тот, кто завершает войну. Природа его укреплений, его вооруженных сил, а также его командования определяет то, каким будет наступление. За ним остается выбор той или иной местности, народная поддержка и выгода от того, как захлебывается атака, первоначальный порыв которой оканчивается тем, что она слабеет; он определяет, наконец, момент для контратаки. Исходя из аксиомы, согласно которой проще удержать, чем захватить, он является, таким образом, хозяином положения. Из этого мы можем заключить, что понятие обороны уже включает в себя наступление и потому в наибольшей степени подходит для того, чтобы сделать войну соответствующей ее концепту. *Beati*

²⁴ Jacques Bainville, *Napoléon (1931)*, Gallimard, coll. "Tel", 2005, p. 424. — Выделено автором.

²⁵ Clausewitz, *op. cit.*, p. 424.

*sunt possedentes**, как не устает повторять Клаузевиц. Обратите внимание, что это превосходно согласуется и с миметической теорией: образец (тот, кто готовится обороняться) есть также и тот, у кого хотят отнять (или вернуть себе) его добро; он есть, следовательно, тот, кто повелевает и *ультимативно* диктует свой закон другому. Устремление к крайности предполагает также и то, что я называю двойной медиацией, ибо обычно сложно понять, кто нападает первым; в некотором смысле это обычно тот, кто не нападает вовсе! Здесь все в точности как в определенного рода уголовных процессах, где жертва на самом деле виновна гораздо более обвиняемого. Когда в ход вступает насилие, неправы все. Наполеон заморожен Александром в той же мере, в какой сам Александр заморожен Наполеоном.

Мимесис присвоения, определяющий поведение наступающего, не предполагает, по крайней мере здесь, какого-либо *ответа*, — им будет контратака как средство обороны. Элементы обороны будут иметь место и со стороны того, кому предстоит эту самую контратаку отражать. Клаузевиц все это очень хорошо описал. Выходит так, что ситуацией управляет тот, кто «изначально» был в обороне. В этом и только в этом случае проявится принцип полярности: относительные полярности подготавливают абсолютную. В перспективе этого первенства обороны над наступлением следует говорить скорее не о рисках самоуничтожения, а о торжестве насилия. Триумф насилия со временем будет все большим: таков принцип превосходства обороны. Клаузевиц, таким образом, вовсе не утрирует войну, как полагал Лиддел Гарт, самый критичный его комментатор XX века²⁶, а демонстрирует, что оборона «диктует правила» наступлению. И в этом плане Клаузевиц очень хорошо понимает, что *современные войны столь жестоки именно потому, что они «взаимны»*: мобилизация заставляет привлекать все большее и большее количество человек, пока не становится наконец «тотальной», как писал о конфликте 1914 года Эрнст Юнгер.

История, вообще говоря, не замедлила подтвердить правоту Клаузевица. Лишь «отвечая» на унижения Версальского договора и оккупацию Рейнской области, Гитлер сумел мобилизовать целый народ; «отвечая», в свою очередь, на немецкое вторжение, Сталин одержал решительную победу над самим Гитлером. Организовывая 11 сентября и все последующие теракты, Бен Ладен всего только «отвечал» Соединенным Штатам. Первенство обороны — это, в некотором смысле, именно то, в чем в ходе конфликта принцип

* «Блаженны владеющие» (лат.).

²⁶ Бэзил Г. Лиддел Гарт — британский офицер и стратег; автор эссе «Призраки Наполеона» (1935), в котором он объявляет клаузевицевскую интерпретацию Наполеона спровоцировавшей резню на Сомме и во Фландрии.

взаимодействия проявляется как отсроченная полярность, — в том смысле, что победа не одерживается в одно мгновение, полной победой она становится *позже*. Тот, кто считает, что, организуя оборону, управляет насилием, на самом деле сам управляется им, это очень важный момент. И вы совершенно справедливо сказали, что взаимодействие одновременно провоцирует и отсрочивает устремление к крайности: свойством этого последнего, быть может, как раз и является то, что оно возрастает *постепенно*, и еще более неотвратно, чем в случае немедленной контратаки, которая могла бы очень быстро привести к мирным переговорам. Вот тот парадокс, который Клаузевиц нам помог отыскать: парадокс того, что непосредственность не непосредственна, а полярность является тем более грозной, чем более отсроченной. Бенвиль очень хорошо это чувствовал, хотя и не выстраивая такой теории, какую сейчас выстраиваем мы:

Две недели потребовалось на то, чтобы в Париже стало известно, что происходит в Петербурге. На действия одного правительства другое способно было ответить лишь с некоторой задержкой, и самым большим заблуждением здесь было бы представлять себе Наполеона и Александра обменивающимися вызовами на дуэль, как-либо отвечающими друг другу, предпринимающими взаимные, все больше и больше напоминающие провокации меры предосторожности. Не наступил еще век ультиматумов по телеграфу, мгновенных мобилизаций, принятых за несколько часов непоправимых решений. Каждый из императоров проживал свою «эволюцию» вдаль от другого, и прошло в общем счете еще около двух лет перед тем, как разразиться буре²⁷.

Но *отсроченная* буря будет в силу этого только еще страшней. Она предвещает другую военную кампанию России, уже XX века: в ней Гитлер повторит ошибки Наполеона. Это будет эпоха Сталина, и в кабинете у себя он повесит огромные портреты Кутузова или царя*. Так за потрясениями коммунизма проявляется старая Россия. Миметическая теория, подкрепленная в данном случае взаимодействием, обязывает нас исследовать историю больших скоплений людей, принимая при этом в расчет очень большую амплитуду ее осцилляций. В некотором смысле Наполеон относится еще к эпохе войн XVIII столетия, а не к веку «ультиматумов по телеграфу». Однако этот век *уже наступил*, и Клаузевиц понял это одним из первых и в той мере, в какой отсроченные конфликты более не могли скрывать лежащий у них в основе принцип взаимодействия. Насилие не изгоняет насилия. От него больше

²⁷ Bainville, *op. cit.*, p. 440.

* Жирар, вероятно, не помнит точно или ошибается: в кабинете у Сталина во время войны действительно появились два новых портрета — Суворова и Кутузова, но портрет царя все-таки был немислим.

нельзя сбежать. Это основополагающая реальность, которую нам следует осознать.

Здесь нас ждет еще одно серьезное антропологическое открытие: *агрессии не существует*. У животных есть инстинкты хищников, есть врожденное соперничество за самок, это без сомнения. Что же касается людей, если ни у кого нет желания нападать, то это потому, что здесь все взаимно. *Агрессор всегда отвечает на агрессию*. Почему отношения соперничества никогда не воспринимаются как симметричные? Потому что людям всегда кажется, что первыми напали не они, а кто-то другой, что они никогда бы ничего такого не начали, хотя в некотором смысле они начинают *всегда*. Индивидуализм — это великолепная ложь. Вот мы даем понять кому-либо, что поняли те знаки агрессии, которые он направляет нам. Тот, в свою очередь, будет интерпретировать такое наше поведение как агрессию. И так без конца. Наступает момент, когда разражается конфликт, и тот, кто его начал, ставит себя в позицию слабого. С самого начала различия между ними, таким образом, крайне малы и выдыхаются настолько быстро, что не воспринимаются как взаимные, хотя и в особенном смысле. Поэтому мыслить войну как «продолжение политики другими средствами» значит *упускать из виду сам факт поединка*, значит терять понятия агрессии и реакции на агрессию: это значит забывать, что взаимодействие одновременно ускоряет и отсрочивает устремление к крайности, — и отсрочивает лишь затем, чтобы еще больше ускорить.

Люди всегда находятся, таким образом, в ситуации порядка и хаоса, войны и мира одновременно. Поэтому мы все хуже и хуже можем отделять друг от друга эти две реальности, которые вплоть до эпохи Великой французской революции были кодифицированы, ритуализованы. Сегодня никакой разницы уже нет. До такой степени взаимодействие усилено глобализацией — этой глобальной взаимностью, в которой самое малейшее событие может отдалиться эхом на другом конце земного шара, — что насилие всегда теперь на шаг впереди. Политика прикрывается насилием, — все в точности так, как показал Хайдеггер, техника выходит у нас из-под контроля. Исходя из этого, нам следует подробнейшим образом изучить модальности этого устремления к крайности, от Наполеона до Бен Ладена: наступление и оборона оказались возведены в ранг единственного двигателя истории. Именно этим заворожен Клаузевиц, это одновременно привлекает его и отталкивает, внушает страх. Победа не может более быть относительной: она может быть только полной. В принципе полярности заключается также и движение в направлении этой отсроченной катастрофы. И когда Клаузевиц говорит нам о горизонте «войны на уничтожение», то термин этот следует понимать в том смысле, который был придан ему в XX веке: одна полярность здесь на самом деле маскирует

другую, или скорее «полярность», о которой говорит Клаузевиц, маскирует ту «поляризацию», которую я попытался описать в «Насилии и сакральном». Раньше это делала жертва, позволявшая вернуться к порядку. Сегодня она смешивается с устремлением к крайности, поскольку жертвы больше не могут быть признаны виновными с полным единодушием.

Для Клаузевица полярность означает возвращение к спокойствию, — в том смысле, в каком «вечный покой» зачастую оказывается покоем кладбищ. Вот поэтому за чередованием следует видеть взаимность; за «реальной войной» — «войну абсолютную», даже притом, что и взаимность, и абсолютная война кажутся нам абстракциями. Апокалипсис — это, в конце концов, ничто иное, как осуществление абстракции, соответствие реальности концепту; и люди, если оценивать ситуацию трезво, сами же и стремятся к подобному рода уничтожению. Таков непреложный закон поединка, что заключается в первенстве обороны над наступлением. Именно этим люди отличаются от животных, которым удалось выстроить свое насилие в том, что этологи называют иерархиями доминирования. Людям же не удалось как-либо упорядочить эту взаимность, потому что они слишком имитируют друг друга и все больше и больше, быстрее и быстрее становятся совершенно схожи между собой.

Поэтому следует полагать, что первые человеческие общины уничтожали сами себя — и *по понятным причинам*. Но эти общины были небольшими и с другими такими же никак не взаимодействовали. Если сегодня апокалипсис стал для нас реальной угрозой в масштабах целой планеты, так это потому, что принцип взаимности никак больше не маскируется, что абстрактное стало конкретным. Вот что незамедлительно отмечает Клаузевиц, прежде чем сбежать в описание законов войны, как будто бы мы все еще в XVIII веке, а война — все еще социальный институт. Однако эта враждебность в межгосударственных отношениях, *за которой он пытается скрыть поединок*, уже не принадлежит своему времени. Напротив, она провозвещает высвобождение насилия.

Об этом Клаузевиц и говорит, и не говорит. Он двусмысленен. Но ведь и Софокл в своем «Эдипе-царе» тоже двусмысленен, — он обнаруживает взаимность и все же пытается заставить нас верить, будто Эдип хотя бы чуточку, но виноват.. Нет, Эдип невинен. Виновата община. Следует полагать, что насилие, когда мы понимаем его законы, осознаем, что оно взаимно и что оно к нам *вернется*, вызывает в нас чудовищный ужас. Что же сделали небольшие архаические сообщества? Они нашли выход из положения; они изобрели жертвоприношение — сами того не ведая, неосознанным образом, — перенаправляя свое насилие на жертву отпущения и по необходимости не замечая, что выбор их произ-

волен. Чтобы выйти из кризиса, они всякий раз были вынуждены превращать взаимное насилие в поляризацию всех против одного. И всякий раз было нужно, чтобы взгляд со стороны (видящий взаимность) и взгляд изнутри (не *желающий видеть* ничего, кроме различий) совпадали, не смешиваясь при этом, между собой. И таким образом было возможно, чтобы все кидались на одного.

ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ

Б. Ш.: Можем ли мы выйти из этого возможного кризиса сейчас, когда, как вы говорите, миметический механизм нагнетается в масштабах целой планеты и когда проблему уже нельзя решить с помощью жертвоприношения? Если только это решение проблемы...

Р. Ж.: ...не совпадает с исчезновением самой по себе человечности, да, это всего лишь *возможность*. Геноциды XX века или резня среди мирного населения уже дали нам это понять. Вот та поляризация, которую маскируют от нашего взгляды полярности войн, все эти относительные победы, которые апеллируют лишь к другим войнам и преумножают насилие. Конечно, геноциды были уже и в древней истории; цивилизации исчезали, но только в смысле вечного возвращения религиозного, в смысле обновляющей силы, что казалась неистощимой, но сегодня уже не работает. Я испытал немало головной боли, пытаясь сформулировать эту идею, за которую теперь так держусь: однажды раскрытый принцип взаимности не обеспечивает уже бесперебойной работы этой неосознаваемой функции, как он это делал раньше. Не разрушаем ли мы сегодня лишь ради того, чтобы разрушать? Сегодня насилие, по всей видимости, уже не сдерживается ничем, а устремление к крайности обслуживается и наукой, и политикой.

Принцип ли это смерти, который наконец выдохся и обретается теперь в чем-то ином, чем он сам? Или это, напротив, какой-то фатум? Мне сложно их разделять. Но вместо этого я мог бы сказать, что сегодня *мы констатируем все возрастающую бесплодность насилия, которое неспособно уже изобрести даже простейший миф для того, чтобы как-то себя оправдать и остаться скрытым*. Это то самое нарастание неразличимости, которое Клаузевиц разглядел за носом поединка. Резня среди мирного населения, которую мы часто можем наблюдать сегодня, оказывается, таким образом, связана со сбоем в жертвенной системе, с невозможностью сдерживать насилие при помощи самого насилия, насильственно изгнать взаимность. Поляризация против жертв отпущения становится невозможной, и подобно заразной болезни ширится миметическое соперничество, которое уже не получится заговорить.

Подобные неудачи в решении проблемы насилия регулярно случаются, когда «устремление к крайности» охватывает две общины: мы видели это в югославской драме, мы видели это в Руанде. Сегодня нам есть много чего бояться в связи с противостоянием суннитов и шиитов в Ираке и Ливане. Повешение Саддама Хусейна все это только ускорило. Буш, с такой точки зрения, — попросту карикатура на все то, что ускользает от неспособных мыслить в апокалиптическом ключе людей политики. Он преуспел лишь в одном: прервал хрупкое сосуществование братьев-врагов столь успешно, что оно испортилось теперь уже навсегда. На Ближнем Востоке, где шииты и сунниты сейчас устремляются к крайности, следует ожидать худшего. Подобная же эскалация, возможно, будет в равной мере иметь место также между арабскими странами и западным миром.

Обратите внимание на то, что она уже началась: эта неразбериха терактов и американских «вторжений», в которой одно является ответом на другое и может лишь ускоряться. Насилие же будет продолжать следовать своим путем. За этим последует противостояние американцев с китайцами: все уже на своих местах, даже если сначала этот конфликт и не обязательно будет военным. Вот почему Клаузевиц ищет убежища и находит его в политике, скрывая изначальное свое прозрение. Это устремление к крайности — феномен совершенно иррациональный, и только христианство, как я полагаю, может его разглядеть. Ибо вот уже более двух тысяч лет назад оно открыло всю тщету принесения жертв, — к вящему неудовольствию тех, кто хотел бы еще верить в их пользу. Христос отнимает у человечества его жертвенные костыли и ставит его перед ужасным выбором: либо верить в насилие, либо нет. Христианство означает неверие.

Б. Ш.: Ваши слова доказывают противникам вашей теории, что она не так уж абстрактна и «систематична», как им бы хотелось думать, а напротив, касается актуальных событий. Она может оказаться ключом к осмыслению определенных исторических процессов; чтобы лучше понять, например, то, что отмечали уже Эрнст Нольте или Франсуа Фюре, концепты которых очень близки к вашим — то, что они отмечали, но не додумывали до конца.

Р. Ж.: Нам и правда следовало бы упомянуть «Европейскую гражданскую войну» Нольте и «Прошлое одной иллюзии» Фюре. Эти исторические исследования прекрасно описывают все то, к чему, как я полагаю, дает ключ миметическая теория. Эрнст Нольте, в самом деле, постоянно говорит о «пугалах-образцах»²⁸

²⁸ Ernst Nolte, *La guerre civile européenne (1917-1945)*, Éditions des Syrtes, 1997 (рус. пер.: Эрнст Нольте, *Европейская гражданская война (1917-1945)*. Национал-социализм и большевизм, М.: Логос, 2003). «Однако 22 июня в войну вступили не Германия и Россия, а большевистская Россия и национал-социалистская

в смысле того миметизма, что образовывал тесную связь между большевизмом и нацизмом; и это, по его мнению, делает нацизм миметическим ответом на большевизм. Здесь речь идет в точности о том, что в миметической теории называется образцом-препятствием. Это крайне существенное историческое открытие. Антропологическая точка зрения, которая могла бы помочь ему лучше сформулировать свое прозрение, однако же, у Нольте отсутствует. Франсуа Фюре, у которого в отличие от него нет каких-либо националистических *a priori*, кажется мне гораздо более убедительным, и именно когда он возвращается к военной травме 1914 года, чтобы попытаться раскрутить на винтики ее механизм.

В реальности же нам следовало бы вернуться на куда большее количество лет назад! За это как раз и берется открытие принципа насилия. Поэтому у нас есть антропологическая трактовка первородного греха: первородный грех – это месть, нескончаемый цикл мести. Он возникает с убийством соперника. А религия – это то, что позволяет с этим грехом жить. Вот поэтому-то лишенные религии общества и уничтожают сами себя. Месть отсутствует у животных, которые никогда лишний раз не подвергнут себя опасности. Лишь сочетание интеллекта и насилия позволяет говорить о первородном грехе и раскрывает весь смысл различия между животным и человеком. Эта реальность определяет значение всех религий, за исключением христианства, упраздняющего временную функцию жертвоприношения. Рано или поздно лишенные жертвоприношения люди либо откажутся от насилия, либо взорвут всю планету; они войдут в состояние благодати или же в смертный грех. Можно, таким образом, сказать, что если религии изобретают жертвоприношение, то христианство его у них отнимает. Основополагающую мысль на сей счет высказывает Паскаль, называя первородный грех тем, что определяет человека:

Несомненно, ничто нас так жестоко не задевает, как это учение, а меж тем без этой тайны, самой непостижимой из всех, мы непостижимы для самих себя. Узел нашего существования завязан на дне этой про-

Германия, которые – на совершенно разный манер – служили друг другу как пугалом, так и образцом” (pp. 362-363); “Для Гитлера и всех поборников национального подъема Советский Союз в 1933 году представлял собой картину сплошного ужаса. Но разве, тем не менее, он не служил в какой-то мере и образцом для национал-социалистской революции?” (p. 493); “Понятие ‘обмен характерными чертами’ не следует понимать так, будто в ходе войны большевизм принял облик своего противника, а национал-социализм – наоборот, облик большевизма. Пожалуй, в обоих режимах наблюдались процессы и тенденции, направленные на нечто вроде внутреннего сближения. Однако же в результате этого вражда не ослабла, а, скорее, усилилась (...)” (p. 559).

пасти так, что человек еще более непонятен без этой тайны, чем эта тайна непонятна человеку²⁹.

Мы находимся у Паскаля в неоплатном долгу. Он мгновенно увидел и понял все «пропасти» в фундаменте. Если Декарт представляется ему «беспольным и неуверенным», то именно потому, что тот мнил себя в силах выстроить что-либо на основании *cogito*, «вывести» из него небо и звезды! Но никто не начинает ничего, что можно было бы начать, — разве что по благодати. Грех — это уверенность в том, что мы можем начать что-то *сами*. Но мы никогда не начинаем, мы всегда только отвечаем. За меня всегда решает кто-то другой и тем самым заставляет меня ему отвечать. За индивида все неизменно решает группа. Именно таков закон религии. Весь «модерн» состоит лишь в ожесточенном отрицании этого очевидного социального факта, в продавлении индивидуализма. Дюркгейм это понял, и потому он — великий мыслитель. Я всего только воспроизвожу его тезис, прибавляя к нему имитацию в качестве двигателя конструирования «социального», — как это делал уже Габриэль Тард, хотя я и более радикален, чем он.

Однако же Тард так и не раскрыл насильственной природы миметического. Необходимо указать также и на другую сторону человеческих отношений, на насильственный *мимесис*, и показать, что именно в нем укореняются все без исключения социальные институты, основанные на механизме жертвы отпущения: есть момент, когда миметическое насилие — каждый имитирует каждого и становится его соперником в надежде вступить в обладание все более и более символическим объектом, — когда это самое насилие охватывает общину в такой степени, что она, сплотившись, в неосознаваемом порыве избегает самоуничтожения, обращая все свое насилие против индивида, который может чем-то ее смущать или быть заметней других. Поэтому *мимесис* — в равной мере причина кризиса и то, что дает толчок к его разрешению. После убийства жертву такого обряда неизменно обожествляют: миф, таким образом, — это *зablуждение*, скрывающее учредительное личевание, которое повествует нам о богах, но *никогда* — о *тех жертвах, которые стали этими богами*. Это изначальное жертвоприношение воспроизводится затем в обряде (и на место этой первой жертвы ставятся заместительные: дети, взрослые, животные, всяческие приношения...), и из обрядовой повторяемости рождаются различные социальные институты, изобретенные людьми единственно для того, чтобы отсрочить апокалипсис. Поэтому мирный мимесис остается возможным только в рамках институции уже установленной и давно существующей: она необходима для трансляции культуры и поддержания ее кода.

²⁹ Pascal, *Œuvres*, Gallimard, coll. "Bibliothèque de la Pléiade", 2000, p. 582.

Мы никогда не учреждаем ничего в одиночестве, но всегда вместе с другими: таков закон единодушия, и *это единодушие оказывается связано с насилием*. Роль социальных институтов заключается в том, чтобы заставить нас об этом забыть. Паскаль очень хорошо это видел, когда говорил о хитрости «порядочных людей», защищающих «величие оснований». Лишь община может что-либо основать, и никогда — индивид: это очень важный момент. Однако на самом деле я скажу вот как: *общины могли что-либо основать лишь в прошлом*. Ибо механизм этот больше не действует. Мы видели все бесплодие «сплоченных групп», которые во времена революции завораживали Сартра. Насилие уже очень давно утратило свою эффективность, но мы еще мало отдаем себе в этом отчет. Лишь этическая позиция способна еще на какое-то созидание, но она буквально не поспевает за событиями, за миметическим нагнетанием со стороны тех индивидов, что считают себя свободными и яростно цепляются за ложные свои различия. Нагнетание это заразно: оно ломает рамки морали, древние истоки которой также обретаются в сфере обряда. Именно оно движет войнами на уничтожение.

Б. Ш.: Вы сказали важное слово: миметическое нагнетание «заразно». В вашем анализе свирепствующей в Фивах эпидемии чумы, в «Насилии и священном», вы полагаете ее ясным знаком утраты различий. Эта «неразличимость» непосредственно предшествует поискам козла отпущения, изгнание которого возвращает городу покой и порядок. Можно ли распространить такую миметическую интерпретацию на те катастрофы, что нам угрожают сегодня?

Р. Ж.: Подобная интерпретация и в самом деле возможна за одним важным уточнением: решение проблемы при помощи принесения жертвы сегодня уже немислимо. С тех пор, как христианство разоблачило механизм единодушия, жертвоприношение перестало работать. Архаическая религия была основана на совершенном отсутствии критики единодушия. Об этом Левинас в своих «уроках по Талмуду» говорит, что если вообще все согласны в том, что обвиняемый виновен, то его следует тотчас освободить, поскольку он не может не быть невинен!

Для общины же в целом эпидемия чумы символизирует ее неизбежное исчезновение, погружение в насильственную и обоюдную взаимность, где каждый — соперник каждого. Чума — это и символ, и симптом утраты различий. Софокл в «Эдипе-царе» не нашел лучшего образа для того, чтобы обнаружить генезис всех социальных институтов: в момент, когда насилие распространяется в общине подобно вирусу, задержать его способна лишь «вакцина» жертвоприношения. Козла отпущения, против которого объединяется община в ситуации, когда ее существо-

ванию угрожает ее собственное насилие, по-гречески называют *pharmakos*: это сразу и «яд», и «лекарство», он виновен в смуте и восстанавливает порядок. Когда священное оканчивает период насилия, ему свойственна такая амбивалентность.

Террористические войны и прочие угрожающие нам бедствия могут, таким образом, быть совершенно схожи с фиванской чумой. В случае с птичьим гриппом молниеносный характер распространения вируса H5N1, — а это мутирующий вирус, вполне способный убить сотни индеек всего за несколько часов, — развился благодаря, разумеется, также и миграциям птиц, но прежде всего авиAPERелетам. Это бедствие, всего за несколько дней вызвавшее сотни тысяч смертей — типичное явление сегодняшней неразличимости, планета близится к своему концу. Ей можно противопоставить вакцину, но при условии, что мы *будем уметь ею делиться*, что она будет доступна не только богатым странам, и что государственные границы отныне станут такими же пронизаемыми, что и границы наших различий.

Эти эпидемии сообщают нам кое-что и о человеческих отношениях, сведенных сегодня к тому, что можно назвать «все-планетной коммерцией». Клаузевиц знал об этой реальности, и мы к этому еще вернемся, когда говорил о том, что коммерция и война различаются между собой не сущностно, а количественно. И в самом деле, теракты часто бывают связаны с поездами или самолетами — тем, что работает как часы, а не как попало. Старые страхи архаики возрождаются сегодня в новых обличьях, но никакие жертвоприношения от них уже не избавят. Поэтому следует срочно разработать стратегии для противостояния этому непредсказуемому насилию, которое ни один социальный институт не может более сдерживать. Однако эти стратегии больше не могут быть военными или политическими. В наше катастрофическое время должна возникнуть новая этика, ибо мы живем в то время, когда сама катастрофа должна быть как можно скорее вписана в рациональность.

В нашей с вами беседе мы не сможем предложить никакого рецепта. Мне только хотелось бы, чтобы она позволила несколько прояснить те конкретные вопросы, которые миметическая теория ставит перед нами сегодня, в свете двух последних веков, и в частности — франко-германские отношения со времен Наполеона. Здесь мы касаемся одного из самых опасных очагов миметического напряжения за всю эпоху модерна. В таком качестве его и следует анализировать. Для его понимания текст Клаузевица имеет решающее значение. В каком политическом, философском, духовном контексте он был написан? Почему остался незавершенным? Как его восприняли и какой была его судьба? Все это важные вопросы. Приводить высказывавшихся на

сей счет ученых я не буду. В полной мере осознавая все таящиеся на этом пути опасности и перспективы, я надеюсь вместе с вами исследовать этот текст и включить наконец его прозрения в новую форму рациональности.

Трактат Клаузевица, написанный вдали всякого диалога, от всякого обсуждения, в одиночестве внутреннего изгнания, провозглашает неизбежную диктатуру насилия. У Клаузевица можно найти даже некую, в своем роде, сакрализацию войны, имеющую место лишь когда она достаточно жестока, чтобы воплотить в жизнь самую свою суть. Вот что довольно-таки странно для человека, столь страстно ненавидевшего Наполеона: он опасается, как бы империя благополучно не оказалась жирной точкой в том, как война теряет свой вкус, а эта перспектива ввергает его в отчаяние. Любопытный образчик духа эпохи Просвещения, одновременно просвещавший прусский милитаризм и разжигавший его. Можно сказать, что речь, таким образом, идет о некой религии милитаризма, поскольку Клаузевиц все-таки замечает ту *трагическую борьбу двойников* – мотив, красной линией проходящую сквозь все мифы, – даже если принесение в жертву и обожествление убитых здесь и скрывают время от времени сам механизм.

Нам предстоит показать, насколько этот текст актуален. Для этого мы сообщим ему необходимую перспективу, заставив Клаузевица вступить в диалог с другими авторами, были они его современниками или же нет. Еще более радикальным образом мы воспроизведем ход мысли Раймона Арона, которому первому принадлежит заслуга расширения очень узкого военного контекста трактата. Необходимо найти достаточно сил для того, чтобы вырваться из порочного круга насилия, из этого вечного возвращения священного, которое все в меньшей и меньшей степени сдерживается обрядом и посему в наше время смешивается с насилием. Следует работать, погрузившись в самое сердце этого освобожденного миметизма. Другого пути у нас нет. Поэтому сейчас мы должны вернуться к исходу из религии, который мог произойти лишь в демистифицированной религии, иначе говоря – в христианстве.

Перевел с французского Алексей Зыгмонт